

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО ИСТОРИИ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
АНТИЧНАЯ КОМИССИЯ
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
«ЛОСЕВСКИЕ БЕСЕДЫ»

Вячеслав ИВАНОВ

*творчество
и судьба*

*К 135-летию
со дня рождения*



МОСКВА «НАУКА» 2002

“ПЕРЕПИСКА ИЗ ДВУХ УГЛОВ” И ЕЕ БИОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

В изучении “Переписки из двух углов” Вячеслава Иванова и Михаила Гершензона царит некий парадокс: неизменно подчеркивается спонтанность ее создания, но при этом она производит впечатление такой завершенности, что исследователям часто остается лишь повторять аргументы двух участников с избитыми цитатами из текста. Это непродуктивное положение привело к тому, что в недавнем обзоре научной литературы о Вяч. Иванове Аврил Пайман предлагает объявить “мораторий” на статьи по этой великолепной, но, по-видимому, наскучившей классике русской мысли¹. Тем временем остаются невыясненными фундаментальные вопросы истории и поэтики “Переписки”, ответ на которые позволил бы расширить границы установившегося понимания текста как манифеста ивановского гуманизма. Важным прецедентом является исследование Веры Проскуриной, которая, основываясь отчасти на авторской рукописи, показала, как этот “универсальный – вне пространства и времени – документ” представляет собой к тому же и “замечательное литературное произведение, построенное по законам художественного текста и ориентированное на литературную игру и театральную условность”². В настоящей статье мы предлагаем другой взгляд на “Переписку”, основанный главным образом на более полном учете контекста ее создания.

Вообще до последнего времени “Переписка” как “универсальный документ” странным образом выпадала из истории, хотя первые критики уделяли особое внимание как раз вопросу о ее актуальности. П.С. Коган, например, жестко критиковал “отвлеченность” обоих авторов: “Как некогда несколько итальянских юношей и девушек удалились во время чумы в уединение и стали рассказывать друг другу фантастические новеллы, так два русских писателя, забыв о революции и голоде, занялись беседами на выпренные темы в здравнице, где свела их судьба”³. Коган усматривает в позициях обоих авторов взаимный отказ от истории: «Вера Иванова в Бога и вера Гершензона в “духа” – религии одного порядка, потому что и та, и другая освобождают их жрецов от непреложного долга наших дней – от обязанности активно участвовать в строительстве новой жизни»⁴. Другие критики защищали “Переписку” от обвинения в общественной отчужденности, выделяя в ней актуальность особого порядка. М.А. Кузмин, например, отметил: “Иному эта переписка в 1920 году может напомнить того ученого, упоминаемого Плинием, который во время извержения занимался научными исследованиями, или константинопольских иерархов, не кончивших богословские споры, когда в Царьград входили уже турки, – но дело в том, что переписка касается очень близко настоящей минуты, очень животрепещуща и насущно нужна”⁵. Од-

нако определения актуальности “Переписки” оставались, как правило, крайне общими. Более поздняя интерпретация “Переписки” как манифеста ивановского гуманизма восходит к ее рецепции в среде межвоенного западноевропейского культурного процесса и отделяет ее еще больше от тех конкретных обстоятельств, которые ее породили, а значит, и от того конкретного смысла, который нашел выражение в ней как для ее создателей, так и для ее первых читателей. Наша задача – вернуть “Переписку” в исторический контекст и выявить ее смысл в свете событий, обусловивших ее создание.

Интерпретация “Переписки” в значительной мере зависит от того, к какому периоду жизни авторов читатель ее относит. Например, как последнее слово в “московском” периоде Иванов “Переписка” развивает главную мысль статьи 1919 г. “О кризисе гуманизма” и подводит итоги всей символистской теории культуры, представляя своего рода завет от бывшего властителя дум, обращенный “из глубин” трагического времени к грядущим поколениям. Как первое слово Иванова в эпоху эмиграции “Переписка” имеет существенно иной смысл, предваряет его принятие католичества и вневременного гуманизма, возвышаясь над историей в область незыблемых истин. Так, например, итальянский славист Ренато Поджьоли выдвигал требование, чтобы в изданиях “Переписки” текст “исправлялся” по позднейшему авторизованному итальянскому переводу, в который Иванов внес несколько изменений⁶. Но, как говорил Иванов в другой связи, “не должна быть изглажена печать рождающего мысль исторического дня”⁷. По сути дела, конечно, “Переписка” является одновременно и итогом башенного любомудрия, и первым проявлением умудренной и несколько отстраненной старости; более того, она выражает самый момент перехода от одного периода к другому. Само время, его ход вперед и отступление назад, его владычество над человеком, в известном смысле является героем книги. Не исключено, что подобное может быть сказано о месте “Переписки” в творческой эволюции Гершензона, который шел от исследований классической русской мысли к собственной философской позиции⁸. Наше исследование исторического контекста “Переписки” ставит своей целью определить ее роль в интеллектуальной эволюции ее авторов, в то же время избегая соблазна объяснять ее содержание чисто биографическими обстоятельствами.

Взаимодействие между контекстом и содержанием “Переписки” отражает отношения между жизнью и текстом вообще в ивановской практике и теории в это переходное для него время. В последние годы стало привычным говорить о “жизнетворчестве” символистов, а это значит, грубо говоря, что символисты претворяли свою жизнь в произведение искусства, не отличая жизненные поступки от поступков эстетического порядка. Полагаем, что даже если эта теоретическая модель способствует осмыслению творчества Иванова 1900-х годов, то к творчеству Иванова 1910-х нужно подходить существенно иначе. В зрелой эстетике Иванова преобладает диалектическая модель взаимодействия между жизнью и текстом: жизнь влияет на текст, но, что важнее, и текст осмысливает жизнь и дает человеку понимание и самопонимание. При этом величайшей ценностью оказывается человек как таковой, а в силу этой антропологической направленности зрелую эстетику Иванова можно называть “герменевтической”⁹. Она предполагает не “большое” или “всенародное” искусство,

какое Иванов пропагандировал в 1900-е годы, а более скромные и человеческие модели вроде поэмы "Младенчество" (1913, 1919) и "камерной", и "случайной" "Переписки из двух углов", где текст является не двигателем истории, а посредником в личном диалоге с историей; текст не преобразует жизнь, а просветляет ее как для писателя, так и для читателей, которые вступают в открытый диалог писателя с текстом. Текст теряет теургическую мощь, но зато приобретает действенность в реальном мире.

Приуроченность "Переписки" к окружающей действительности наблюдается уже в кратком предуведомлении, подписанном "От издательства": «Письма эти, числом двенадцать, писаны летом 1920 года, когда оба друга жили вдвоем в одной комнате, в здравнице "для работников наук и литературы" в Москве»¹⁰. Приведенное название государственного санатория уже содержит в себе иронический и даже полемический элемент: в "Переписке" как раз обсуждается проблема культурной "работы" при новом общественном строе, причем по ходу обсуждения авторы как будто открывают для себя разные аспекты новой культуры. В письме IX от 12 июля поднимается вопрос о преемственности пролетарской культуры, причем Иванов здесь занимает несколько неожиданную для него позицию. Он утверждает, что "пролетариат стоит всецело на почве культурной преемственности" (с. 405)¹¹. В ответном письме Гершензон возражает: "Что мы сейчас видим в революции, ничего не говорит о далеком расчете и замысле, с каким дух вызвал ее в жизнь" (с. 409). Тема в принципе входит в контекст "Переписки", но, как можно полагать, непосредственно она исходит от доклада, который читал народный комиссар по просвещению Анатолий Луначарский 13 июля 1920 г., по которому Иванов и Гершензон, среди других, выступали оппонентами¹². Нет необходимости преувеличивать значение доклада Луначарского, текст которого нам неизвестен, но вполне возможно, что он послужил стимулом к обсуждению этой темы в "Переписке"; в то же время нужно полагать, что сама "Переписка" имела влияние на выступления Иванова и Гершензона на этом диспуте. Впрочем, более подробное изучение жизни Иванова и Гершензона в это время выявит еще много связей между содержанием "Переписки" и современными ей общественными дискуссиями, показывая пример того, как жизнь и текст вступают во взаимодействие¹³.

Однако в "Переписке" отвлеченные разговоры о революции и культуре переплетаются и с более насущными для авторов темами. Принимая во внимание даты, проставленные под письмами Иванова и в самом конце текста, можно заметить, что "Переписка" была затеяна как раз в дни, когда совершалась драма вокруг так и не осуществившегося выезда Иванова из Советской России¹⁴. Таким образом, несколько внешних черт уже дают выразительные штрихи к картине положения Иванова: поэт, униженный до статуса "работника" культуры, изгоняется из своего отечества. Напрашивается вопрос о том, каким образом эта ситуация отразилась в тексте "Переписки". Интерпретируя положение Иванова о преемственности пролетарской культуры, нужно учитывать и то, что в то время как Иванов дает положительную оценку революции, он активно пытается восстановить отмененную Лениным заграничную командировку. Возникают две возможные интерпретации: или Иванов пытается склонить власти в свою пользу, или же в аргументацию Иванова вклинивается осознание того, что

Советская Россия, хотя бы в ближайшем будущем, останется его домом, его родиной, а это значит, что ему нужно установить преемственность новой культуры по отношению к предыдущей, т.е. к себе. Тема родины и изгнанничества присутствует во всей "Переписке", но она становится особенно значимой к ее концу, когда решался вопрос о выезде Иванова из Советской России.

Канва событий, на фоне которых создавалась "Переписка", приблизительно следующая. В начале 1920 г. как Иванов, так и Гершензон состояли на государственной службе в Наркомпросе, где оба писателя сотрудничали в Литературном отделе; еще 24 мая, за три недели до начала "Переписки", было подано заявление в Комиссию текущих дел при Наркомпросе об утверждении "вознаграждения" высококвалифицированных работников, в том числе Иванова и Гершензона¹⁵. Приблизительно тогда же оба писателя были помещены в "здравицу" для лечения и содержания, откуда Иванов ходил на службу в Театральный отдел Наркомпроса¹⁶. В июне-июле 1920 г. Иванов и Гершензон ведут активную общественную деятельность, о чем неоднократно появлялись заметки в "Известиях"¹⁷.

Однако в то же время оба писателя искали возможности выехать из России по линии государственных командировок от Наркомпроса. 11 марта 1920 г. Коллегия Наркомпроса удовлетворила прошение Вяч. Иванова "об оказании ему финансовой помощи для поездки за границу"¹⁸, но 17 апреля она "воздержалась" от командировки Гершензона, постановив: "Принимая во внимание болезненное состояние М.О. Гершензона, просить М.Н. Покровского принять необходимые меры к улучшению его положения"¹⁹. Отъезд Иванова все откладывался по разным обстоятельствам, но командировка оставалась в силе ко времени написания его первого письма соседу по комнате Гершензону 17 июня. Таким образом, к началу "Переписки", которую Михаил Кузмин назвал "турниром двух утонченнейших умов"²⁰, в положениях двух умственных фехтовальщиков наблюдается некое неравенство: Иванов дожидается отъезда, а Гершензон примирится с необходимостью остаться в России.

Не хотим преувеличивать значения этого неравенства, но, возможно, оно отчасти объясняет разительный контраст в исходных настроениях двух совопросников. Вспомним слова, которыми открываются первые два письма "Переписки". Иванов пишет: "Знаю, дорогой друг мой и сосед по углу нашей общей комнаты, что Вы усомнились в личном бессмертии и в личном Боге" (с. 384). Гершензон же отвечает: "Нет" (с. 385). Как отметил Роберт Луис Джексон, в этих словах уже содержится весь пафос "Переписки": один говорит "знаю", другой просто отрицает, придерживаясь всепроникающего скепсиса, признающего лишь запросы индивида²¹. При этом теоретическая установка Гершензона хотя и довольно уязвимая, но зато жизненная и искренняя, тогда как несколько самоуверенный тон Иванова может показаться отстраненным от реальности, что косвенно подтверждается его склонностью к метафоре и цитате. Примеры противоречивости Гершензона нетрудно подобрать, и Иванов готов их привести в пользу своего аргумента (с. 402). Например, Гершензону опротивела "трагедия творчества", отчуждение объективизированных созданий от творившего их человека, но в письме IV он охотно называет кумиров из культурной традиции: Данте, для которого "и мысль была так свежа и слово существенно" (с. 387), и

Руссо, которому мерещилось "какое-то блаженное состояние – полной свободы и ненагруженности духа, райской беспечности" (с. 388). Только у Гершензона могли эти два имени оказаться в одном ряду, но это удивительное сопоставление лишь подчеркивает ненадуманность и спонтанность его аргументации. Установка Гершензона – не на существующие тексты и даже не на создаваемый им самим текст (о котором он отзывается пренебрежительно, представляя "Переписку" как затею Иванова), а на действие, вне всяких категорий ее объективизации. Иванов же всецело находится в текстах, в них он ищет авторитета, и посредством текста он пытается увековечить разговор с соседом. Однако Гершензон все же принял вызов Иванова и тем самым придал тексту значение (Иванов даже говорит, что Гершензон первый "пожелал" переписываться; с. 385). Разница в том, что для Иванова важна текстуальность жизни, тогда как для Гершензона наиболее существенна именно жизненность текста, его укорененность в самотытном и неповторяемом опыте (ср. с. 388).

В письме V Иванов впервые устанавливает связь между гершензоновской темой усталости от культуры и взаимным желанием обоих корреспондентов уехать из России: "Дорогой друг мой, мы пребываем в одной культурной среде, как обитает в одной комнате, где есть у каждого свой угол, но широкое окно одно и одна дверь. Есть, вместе с тем, у каждого из нас и свое постоянное жилище, которое вы, как и я, охотно обменяли бы на иную обитель, под другим небом" (с. 390). Слова Иванова об "окне" и "двери" могут быть поняты метафорически, как утверждение универсального свойства религиозного опыта, открывающего запредельный мир, однако образ "иной обители под другим небом", как кажется, скорее должен приниматься в прямом смысле, как предчувствие эмиграции. В самом деле, оба пласта смысла задействованы в тексте. Иванов утверждает независимость личного сознания от культурной среды – независимость, основанную на вере в Бога, – а значит, и от данной среды пореволюционной России: "жить в Боге – значит уже не жить всецело в относительной человеческой культуре, но некоею частью существа вырастать из нее наружу, на волю" (с. 391). Отметим, что для Иванова такая божественная, или универсальная, внеположность человека культуре всегда связывалась с заграничным опытом, который открывал ему некую метафорическую точку зрения на родную культуру. Уже в письме IV Гершензон намекает на свое отрицательное отношение к планам Иванова и связывает их с поэтической натурой собеседника: "Ведь я не один, – в этих каменных стенах задыхаются многие – и вы, поэт, разве ужились бы здесь без ропота, когда бы не пал вам на долю счастливый дар – хоть изредка и ненадолго улетать вдохновением за стены – в вольный простор, в сферу духа? Я с завистью слежу глазами ваши взлеты, ваши и других современных поэтов: есть простор и есть у человечества крылья!" (с. 390). На все доводы Иванова о свободе в культуре Гершензон отвечает лишь, что "здесь скучно, как в нашей здравнице" (с. 394): "Я вовсе не знаю и не хочу знать, что встретит человек за оградой покинутой тюрьмы, и откровенно признаю мое полное безучастие в деле предуготовления путей свободы" (с. 393). Разногласие параллельно действительной ситуации спорщиков: замкнутость гершензоновских рассуждений соответствует его положению, а ивановский призыв "на волю", возможно, звучит для него несколько обидно.

Рискуем сказать, что порой в словах Иванова проступает некоторая нечувствительность по отношению к Гершензону. Легко ему корить Гершензона за его "кочевую непоседливость" (с. 402) и защищать "культурный Египет", т.е. хранилище истинного культурного наследия, когда самому Иванову не приходится оставаться в пределах этого Египта. Иванов даже противопоставляет революцию гершензоновскому настроению внутреннего изгнанничества: "Метод революции, загнавший нас с вами, усталых и истощенных телом, в общественную здравницу, где мы беседуем о здоровье, – метод исторический по преимуществу и социальный, даже государственный, а не утопический и анархический, т.е. индивидуальный, метод остающихся и оседлых, а не бегунов и номадов" (с. 405). Аргумент можно понять, но трудно представить, как Иванов примиряет его со своими планами уехать из России. Возможно, что Иванов считает себя представителем побежденной культуры, изгоняемой с родины против ее воли, или же он усматривает некий особый выход для себя из своего противопоставления "оседлых" и "бегунов".

Предполагаемое нами противостояние лишь подчеркивает трагичность развязки "Переписки". В письме IX Иванов развивает тему о необходимости черпать вдохновение и руководство из "посвященный отцов" (с. 395–396). Он утверждает, как уже отмечалось, "культурную преемственность" пролетариата и продолжает при этом упрекать Гершензона в неоседлости²². Но приблизительно в одно время с этим письмом, датируемым 12 июля, Иванов получает известие о запрете на все заграничные командировки от Наркомпроса, и оба друга оказываются вдруг в одинаковой ситуации²³. Здесь можно вернуться к образу турнира: если до сих пор Гершензон лишь отводил меткие удары своего соперника, то с письма X он переходит в наступательную позу и начинает задевать Иванова за живое²⁴. "Если вы считаете нужным исследовать природу моей жажды, то я не менее вправе определять причину вашей сытости", – едко пишет Гершензон (с. 407). Теперь, когда Иванов оказывается таким же заключенным в тюрьме советской действительности, Гершензон может спросить: "Почему же вас оскорбляет мое утверждение, что современная культура есть результат ошибки, что человек нашего мира пошел ложным путем и забрел в безвыходную дебрь?" (с. 407). Теперь для всех ситуация безвыходна, для всех в равной степени, и Иванову приходится прислушаться к доводам своего собеседника.

В последнем письме, написанном 15 июля, Иванов предлагает своему совпроснику объявить перемирие: "не разойтись ли нам по своим углам" (с. 410)? «Уйдем, – приглашаете вы, а я отвечаю: "некуда; от перемещения в той же плоскости ничего не изменится ни в природе плоскости, ни в природе движущегося тела"» (с. 411). Иванов вспоминает свои старые стихи "Кочевники красоты" и как бы отрекается от их основной мысли о мгновенном переходе в царство красоты, противопоставляя ей "все постигающий возврат" (...) к первоистокам жизни" (с. 411). Иванов опять называет русских интеллигентов "бегунами": "Нас подмывает бежать, бежать без оглядки. Мне свойственно непреодолимое отвращение к решению какого бы то ни было затруднения – бегством" (с. 412). Акцент в этих словах заметно сместился по сравнению с более ранними высказываниями Иванова в той же "Переписке", хотя бы в силу его исповедального характера или замены понятия внеположенности культуры понятием восхожде-

ния через культуру. Как бы объясняя, почему он все-таки пытался уехать из России, Иванов определяет себя следующим образом: “скорее, я наполовину – сын земли русской, с нее, однако, согнанный, наполовину – чужеземец, из учеников Саиса, где забывают род и племя” (с. 412). Характерно, что Иванов видит свою родину в некоем универсальном пространстве, а не здесь и теперь.

Иванов заканчивает последнее письмо парадоксальным заявлением, что, хотя он по сути чужеземец, согнанный с родной земли, он должен оставаться в “данной среде или стране” и добиваться не выезда из нее, а “восхождения” через возврат к ее истокам (с. 412). Гершензон возражает, что цельность ивановского мировоззрения исключает изгнанничество и что он, а не Иванов чужеземец в России. Гершензону остается завершить “Переписку” признанием того, что “я живу, подобно чужеземцу, освоившемуся в чужой стране” (с. 414), и уверить Иванова: “Вы, мой друг, – в родном краю; ваше сердце здесь же, где ваш дом, ваше небо – над этой землей” (с. 415). Последние слова Гершензона отмечают победу его прямой речи над метафоризмом Иванова, возврат с выспренных высот риторики к действительности. Нельзя не заметить, как положения совопросников кардинально изменились с начала “Переписки”. Гершензон уже утверждает не косность культуры, а свою свободу в ней. Под влиянием уверенный своего друга Иванов же вынужден оставить тезис о своей “трансцендентности” культуре и осознать, хоть и поневоле, свою укорененность в ней. Начал же Иванов с утверждения бессмертия и трансцендентности по отношению к культуре, т.е. с идеи свободы от культуры, а приходит к утверждению свободы посредством культуры. Выходит, словно обыгрываемая Ивановым метафора “кочевника” и “родного сына” своеобразным образом реализовалась в жизни участников, каждый из которых примиряется с неизбежными последствиями своего положения.

Во всем предыдущем нам приходилось несколько сгустить краски и подчеркнуть протывостояние друзей-корреспондентов, но это было необходимо лишь для того, чтобы показать роль, которую играл текст “Переписки” в переживании и осмыслении ее участниками событий внешней жизни. Зачем писалась “Переписка”? Ответ заключается в словах Гершензона из письма IV: “Пишу, потому что так полнее скажется, так и раздельнее воспримется мысль, как звук среди тишины” (с. 387).

Тезис Иванова о необходимости быть “трансцендентным” культуре во многом соответствует его собственному опыту²⁵. Именно за рубежом Иванов пережил наиболее острые духовные кризисы в своей жизни: там ему открылся Дионис, там он встретил Л.Д. Зиновьеву-Аннибал, там же была явлена “нежная тайна”, вдохновившая его творчество в 1910-е годы. Туда же он порывался всякий раз, когда иссякала творческая энергия. Там, конечно, он и окажется через четыре года после “Переписки из двух углов”, но в римском изгнании у Иванова сложится существенно иное отношение к родине: в принятии католичества, в “Повести о Светомире Царевича” Иванов не столько трансцендентнирует родную культуру, сколько пытается ее воссоздать вокруг себя в преображенном виде²⁶.

Бесспорно, этот процесс происходил не только в “Переписке”, которая является частью более широкого процесса самоосмысления в условиях советской действительности. Этот текст не действие, каким был текст для Иванова

1900-х годов, а именно письмо как процесс творческого самоотчуждения, самопроверки и самопонимания. И соборность здесь – это причудливая встреча двух друзей посредством письма. Именно как текст диалогического построения “Переписка” помогает Иванову осознать себя. В этом играет роль то, что Вера Проскурина называет ивановской “стратегией цитаты”²⁷: Иванов пытается встроить себя в традицию, или, вернее, сконструировать такую традицию, которая бы предоставила ему опору и почву. Но важен также и диалог с Гершензоном, который заставляет Иванова увидеть свою укорененность в родной культуре и невозможность отхода от нее. В своем алогичном, но прочувствованном бунте против сложности культуры, за свободу не смотря на культуру Гершензон открывает для Иванова альтернативную модель существования. В процессе письма точка зрения Иванова меняется, вернее, обретает все растущее самопонимание. Тем самым ставится новая мысль текстуальной диалогичности.

На всем протяжении “Переписки” осуществляется тонкая игра слов, которые берутся то в прямом, то в метафорическом смысле. Разговор происходит на разных уровнях: обычно Иванов говорит образно, опираясь на тексты (например, неоднократно цитируемые им слова Гёте “умри и стань”!) и оставляя конкретный смысл слов неопределенным (он явно не имеет в виду физическую смерть), тогда как Гершензон ищет жизненных ответов в возможно более прямой подаче. Иванов ищет “истинного [т.е. вечного] бытия” (с. 383), освященного в веках, а Гершензон жаждет жизни, “легкой и радостной” (с. 385). В конечном итоге, однако, оба совопросника находят необходимое в процессе письма, которое дарует им бессмертие тем, что погружает их в диалектику времени и личностей, связывая их с традицией, запечатляя их опыт внутри непрерывной традиции и передавая его будущим участникам в неисчерпаемом диалоге культуры.

Эстетические взгляды Иванова в 1910-е годы ориентированы на такую диалогическую модель творческого акта, которая вступает во взаимодействие с предшествующими произведениями и побуждает к созданию новых. Любое произведение искусства является частью общего процесса или традиции, понятой в динамическом смысле. Эта установка на традицию и на коммуникативную природу художественного творчества позволила нам в других работах провести параллели между зрелой эстетикой Иванова и герменевтикой Ханса Георга Гадамера, который основывает самопонимание на творческом участии в некой традиции: “Традиция не только постоянная предпосылка, но мы сами ее создаем, поскольку мы понимаем, участвуем в развитии традиции и таким образом определяем ее”²⁸. Диалектика жизни и текста, которую мы проследили в “Переписке из двух углов”, позволяет и это произведение отнести к числу “герменевтических”, однако в данном случае напрашивается сравнение не с Гадамером, а с другим видным представителем философской герменевтики – Полем Рикером. Рикер предлагает модель понимания, основанную на текстах, понятиях как незаменимые посредники в человеческих действиях. Рикер видит в создании текста акт самоотчуждения со стороны автора, который хочет увидеть себя и переложить свои действия в некий рассказ о жизни, одновременно собирающий ее фрагменты в целое и выявляющий их смысл. Достигнутое таким образом само-

понимание открыто и другим, которые отчуждаются в тексте другого, чтобы принадлежать себе. Рикер пишет: “Понять себя – значит понять, как ты подходишь к тексту, получить от текста условия для другого себя, чем тот, который начал это чтение”²⁹. Словом, действие порождает текст как коммуникативный акт, а текст, в свою очередь, порождает ответный текст, который должен переводиться обратно в действие. Подобным образом Иванов ищет руководства к действию в созданном им тексте, который встраивает действие в контекст традиции текстов и побуждает к действию во внетекстовой реальности. Ответные же тексты Гершензона лишь усиливают исходную диалогичность ивановских текстов, сгущают донельзя процесс восприятия и пересоздания текста самим автором, подчеркивают возможность учиться у собственного текста.

В заключение следует сказать, что анализ взаимодействия между “Перепиской из двух углов” и биографическим контекстом ее авторов не только освещает недооцененные черты самого текста, но и показывает, насколько мысль Иванова может быть понята в герменевтическом русле. “Переписка из двух углов” – воплощенный диалог с другом, с традицией и с самой собой, возможный только на стыке жизни и текста. Уникальность “Переписки” как раз в том, что в ней запечатлен весь процесс во времени и в связи со всеми окружающими бытиями.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Рутан А. Viacheslav Ivanov: Studies and publications. 1994–96* // Slavonic and East European Review. 1999 Vol. 77, N 3. P. 488.

² *Проскурина В. Течение гольфстрема: Михаил Гершензон, его жизнь и миф. СПб., 1998. С. 338–339.*

³ *Коган П.С. Вячеслав Иванов и М.О. Гершензон: Переписка из двух углов // Печать и революция. 1921. Кн. 3. С. 223.*

⁴ Там же. С. 225.

⁵ *Кузмин М. Мечтатели // Условности. М., 1923. С. 156; ср.: Шлецер Б. Русский спор о культуре: Вячеслав Иванов и М.О. Гершензон – “Переписка из двух углов” // Современные записки. 1922. XI. С. 196.*

⁶ *Poggioli R. The phoenix and the spider: a book of essays about some Russian writers and their view of the self. Cambridge (Mass.), 1957. P. 228, n. 8.*

⁷ *Иванов В.И. Скрябин. М., 1996. С. 4.*

⁸ *Проскурина В. Указ. соч. С. 384–385.*

⁹ Эволюция эстетики Иванова рассмотрена нами подробнее в работах: Вяч. Иванов и К.Д. Бальмонт: творческие связи // К 125-летию со дня рождения Юргиса Балтрушайтиса. М., 1999; *Bird R. Understanding Dostoevsky: A comparison of Russian hermeneutic theories // Dostoevsky studies: the Journal of the International Dostoevsky Society. New series. [S. a.] Vol. 5. P. 129–146; The tender mystery: Romaniticism and symbolism in the poetry and thought of Viacheslav Ivanov: Ph. D. dissertation, Yale University, 1998.*

¹⁰ *Иванов Вяч., Гершензон М.О. Переписка из двух углов. Пб., 1921. С. 7. Издательское предупреждение опущено при перепечатке текста в 3-м томе Собрания сочинений Вяч. Иванова (Брюссель, 1979). В дальнейшем цитаты из “Переписки” приводятся в тексте по этому тому с указанием в скобках страницы.*

¹¹ Отметим кстати, что слова Иванова о революции ставят под сомнение то, насколько “Переписка” согласуема с “Письмом к Шарлю Дю Босу” (1930), своего рода монологическим продолжением “Переписки из двух углов”, в котором Иванов писал: “Дело пролетариата –

лишь повод или метод: реальная цель в том, чтобы заглушить Бога, вырвать его из человеческих сердец" (*Иванов В.И.* Собр. соч. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 425).

¹² Искусство и культура: Преемственность культуры // *Известия*. 1920. 13 июля, № 152 (999). С. 2.

¹³ См., например, материалы выступлений Иванова, относящиеся к этому периоду и сохранившиеся в архиве Гершензона: РГБ ОР. Ф. 746. Оп. 51. Ед. хр. 9, 10.

¹⁴ Подробное изложение истории неосуществленного выезда Иванова из России в 1920 г. см.: *Берд Р.* Вяч. Иванов и советская власть // *Новое литературное обозрение*. 1999. № 40; см. также: *Гершензон-Чегодаева Н.М.* Первые шаги жизненного пути: (Воспоминания дочери Михаила Гершензона). М., 2000. С. 27–29.

¹⁵ ГА РФ. Ф. 2306. Оп. 1. Ед. хр. 416. Л. 5.

¹⁶ *Зубарев Л.Д.* Вячеслав Иванов и театральная реформа первых послевоенных лет // *Начало: Сб. работ молодых ученых*. М., 1998. Вып. 4. С. 208–209; см. также упоминание о совместных выступлениях Иванова и Гершензона в конце 1918 г. (Там же. С. 197).

¹⁷ *Известия*. 1920. 22 июня, № 134. С. 2; 24 июня, № 136. С. 2; 1 июля, № 142 (989). С. 2; 3 июля, № 144. С. 2; ср. также: *Проскурина В.* Указ. соч. С. 396.

¹⁸ ГА РФ. Ф. 2306. Оп. 1. Ед. хр. 318. Л. 109 об.

¹⁹ Там же. Л. 172 об.; РГБ ОР. Ф. 746. Оп. 45. Ед. хр. 44. Относительно командировки Гершензона сохранилась также выписка, датированная 13 июля, которая осталась нам недоступной (РГБ ОР. Ф. 746. Оп. 45. Ед. хр. 46). В итоге Гершензон выехал в Германию на лечение осенью 1922 г. и вернулся в Россию в 1923-м (*Гершензон-Чегодаева Н.М.* Указ. соч. С. 184–188).

²⁰ *Кузмин М.* Указ. соч. С. 156; ср. также: *Ландау Г.* Византиец и иудей // *Рус. мысль*. 1923. I–II. С. 187.

²¹ *Jackson R.L.* Ivanov's humanism: A correspondence from Two Corners // *Vyacheslav Ivanov: poet, critic, philosopher*. New Haven, 1986. P. 347.

²² Об этой теме в "Переписке" см.: *Ландау Г.* Указ. соч. С. 189, 198.

²³ См.: *Берд Р.* Вяч. Иванов и советская власть. С. 306–317.

²⁴ Ср.: *Ландау Г.* Указ. соч. С. 209.

²⁵ Подробнее об этом см.: *Берд Р.* Вячеслав Иванов за рубежом // *Культура русской диаспоры: Саморефлексия и самоидентификация*. Тарту, 1997.

²⁶ Ср.: *Макоаский С.К.* Портреты современников. М., 2000. С. 187.

²⁷ *Проскурина В.* Указ. соч. С. 366–375.

²⁸ "Sie (die Ueberlieferung) ist nicht einfach eine Voraussetzung, unter der wir schon immer stehen, sondern wir erstellen sie selbst sofern wir verstehen, am Überlieferungsgeschehen teilhaben und es dadurch selber weiter bestimmen" (*Gadamer H.G.* Wahrheit und Methode. 2. Aufl. Tübingen, 1965. S. 277).

²⁹ *Ricoeur P.* From text to action: Essays on hermeneutics, II / Transl. by K. Blamcy, J.B. Thompson Evanston (Ill.) 1991. P. 17.